Сад камней

Автор:
Яна Дубинянская

Сад камней

Яна Юрьевна Дубинянская

Каждому хоть раз хотелось сесть на поезд и уехать в неизвестном направлении. Чтобы не нашли, не догнали… А героиня романа "Сад камней" это действительно сделала. Марина – сложный человек и талантливый режиссер. Встреча с ней для любого – яркое событие, пусть и не всегда приятное. Однажды она убежала от мира, посчитав, что от этого все только выиграют. Она вышла на полустанке, где есть станция, но не останавливаются поезда, и оказалась в загадочном поселении. Или другой реальности? Марина уверена, что ее не будут искать, но сначала приходит посылка на ее имя, а потом появляются самые важные для нее люди… Похоже, здесь, посреди леса, занесенного снегом, возможно все. Даже создать по камешку: оникс, яшма, авантюрин… свой собственный гармоничный сад камней.

Яна Дубинянская

Сад камней

Это оникс, детка.

Осенний оникс, самый грустный и спокойный камень. Как будто расходятся круги по воде, по черной воде непроницаемого пруда в ноябре. И случайное солнце, мягкий желтый лучик вот тут, на срезе. Сейчас у нас лето, но ты же помнишь, какая бывает осень?

Это яшма.

Когда природа хочет нарисовать красивую картину, она берет яшму. Рисует, а потом прячет внутри камня, но если постараться, можно найти. Здесь море, видишь? Волны, большие, зеленые и чуть-чуть коричневые, а на горизонте маленький кораблик. Вот закат: солнце, как яблоко, а вокруг него розовые облака. Тут у нас лес, деревья, в камне они называются дендритами, тут опять море, только гладкое, штиль, и чайка летит. Яшма бывает разноцветная, какая хочешь. И черная тоже. А теперь смотри, портрет девочки. Не видишь? Вот у нее глазки, вот улыбка, вот косичка с бантиком…

Это сердолик.

От слова сердце. Ничего, что желтый, сердце на самом деле тоже немножко желтое, его только рисуют красным. Необработанный не очень красивый. А вот сердоликовые бусы. Бусинки не совсем круглые, они все разные и по форме, и по оттенку, потому что одинаковых камней, как и сердец у людей, не бывает. Да, эти две по краям почти, правда. Но ты присмотрись получше.

А сейчас я покажу тебе фокус. На что похоже? Правильно, на яйцо. На большое-большое яйцо здоровенной птицы, страуса, наверное. А теперь посмотрим, что у него внутри. Поднимаем крышечку…

Это горный хрусталь.

Друза. Так говорят, когда камни вырастают вместе, словно букет кристаллических цветов. Давным-давно, в самые что ни на есть незапамятные времена в этом сером камне образовалась полость, пустое место. И в ней начали расти кристаллы горного хрусталя, прозрачные, сверкающие, спрятанные, как сокровище. Если б я их не нашел, они так и заполнили бы собой всю полость, нескоро, через миллионы лет. Но я знаю, как искать, знаю один секрет. Смотри внимательно. Закрываем крышечку назад. Видишь – тоненькая беленькая полоска? Когда найдешь круглый или овальный камень с таким пояском, его надо расколоть молотком и посмотреть. Правда, там может ничего и не оказаться. Совсем-совсем ничего. И обидно.

Вот еще один такой камень-яйцо. Открываем. Что у нас тут? Манюсенькие фиолетовые кубики, и теснятся друг к другу поплотнее по краю, чтобы все

поместились, им досталась очень маленькая полость, одна на всех. Это флюорит.

А это авантюрин.

Камень, в котором живут золотые искры. Вспыхивают на солнце, гаснут в тени, они и в самом деле живые, честно. Камень чудес и приключений. Ты любишь приключения? Любишь, я знаю. А если тебе кажется, что в жизни их не бывает, что все темно и тускло, то ты глубоко ошибаешься. Очень просто: берем и поворачиваем лампу, направляем луч… Загорелись, видишь?!

Это барит, роза пустыни.

Каменный цветок, выросший в песках, без капли воды. Кажется мертвым. Самым мертвым из всех камней, потому что очень похож на живую, настоящую розу, другие-то камни не притворяются живыми. Но ты все-таки учитывай, что она из пустыни. Там все по-другому. Там приходится иногда вот так.

Это аквамарин.

Аква – значит вода, марина – морская… да что ты говоришь? Мое любимое имя. Аквамарин – это берилл, бериллов на свете много, прозрачных, разных цветов, но он самый красивый из всех. Красивее моря вообще ничего не бывает. Запомнила? Аква-марин.

А это ты наверняка знаешь. Янтарь.

Смола древних деревьев, умница. Загляни сюда, в увеличительное стекло. Маленькая-маленькая мушка прилипла когда-то к смоле, не повезло. Зато она сохранилась в камне навечно, а так давным-давно бы умерла. Янтарь теплый, живой, солнечный, из него часто делают украшения, бусы, серьги. Не знаю, почему-то я не люблю янтаря. Он и не камень на самом деле. И потом, жалко глупую мушку.

Не устала?…

Это гематит.

Это опал.

Малахит.

Агат.

Бирюза.

Турмалин.

Халькопирит…

* * *

– А теперь выбери себе камушек, и пускай мама купит его тебе на память.

– Я возьму все.

– Ну, не капризничай, выбери. Из этой коробочки.

– Они все мои! Я же их смотрела!! Все – мои!!!

– Женщина, заберите ребенка! Расколотит витрину – будете платить!

– Тихо, тихо, Маришечка, не надо, не плачь, пошли…

Часть первая

Глава первая. Оникс

…не найдут. Вот как я их всех!

Придерживая сбоку перекошенную, аварийную занавеску, я пялилась в окно, и когда мимо проносился очередной полустанок – полосатые столбы, пару приземистых строений, тарелка-антенна, собака на цепи, кошка в окошке, бывает же такая жизнь, – хохотала, как сумасшедшая; да я, наверное, сумасшедшая и есть, все так говорят, шепотом, когда я не слышу. Стекло тряслось и дрожало под костяшками пальцев. Фляжка с чеканным тигром, Пашкин, между прочим, подарок, и вещь, несмотря на то, что Пашка козел и всегда козлом останется, еще плескалась в такт колесного перестука, но уже почти ничего не весила в ладони. Двое студентиков, соседей по купе, четвертый час курили в тамбуре, а квадратная тетка забилась на свою верхнюю полку и лежала там смирно, зубами к стенке, убедительно имитируя свое отсутствие – не только тут, но и вообще в бренном мире, который от этого лишь выигрывал. Мне, по крайней мере, он определенно начинал нравиться.

Лес. Дробный ритм темно-коричевых стволов сквозь листву. Золото, охра, умбра, багрянец, лимон, и всегда облетает быстрее, чем успеваешь отснять, всегда уходящая натура, я ненавидела бы осень, если б не так нечеловечески красиво. У самой насыпи – шляпка гриба из-под листьев, казалось бы, нереально разглядеть на такой скорости, а успеваешь: я давно догадывалась, что время совсем не то, чем оно притворяется. Прижаться лбом к стеклу, и вибрация на удивление послушно и быстро попадает в такт биения пульса. Вырвалась, вырвалась. Не догонят.

Мятая морда проводника в дверной щели, совершенно лишняя, диссонансная, да как он посмел, сволочь, скотина, вломиться, нарушить, его вообще не должно быть!!! Схватить с дрожащего столика подстаканник – и в морду, в серую небритую мерзость, почти без размаха, но вложив в бросок истовое усилие полета, злую и яркую страсть, от которой плывет в глазах, подкатывает к горлу, сотрясает все тело. Конечно, слабо, недостаточно, не по-настоящему: настоящего он и не стоит. По-настоящему пробивает последнее время все реже.

Кажется, промахнулась. На стертом купейном коврике сверкают осколки и валяется ложка, подстаканник закатился неизвестно куда, проводницкая морда исчезла и вряд ли появится снова, и курящие студенты тоже. Тетка на верхней полке лежит бездыханно, как труп.

Я присела, откинула голову на мягкий красный валик вдоль стенки купе, прикрыла глаза. Все будет хорошо. В промежуточном состоянии, когда уже не здесь и еще не там, сама понятия не имеешь, где, поверить в лучшее не то что бы легко – в принципе возможно. Колесный ритм: все-бу-дет-хо… и проникаешься, поддаешься простейшему гипнозу, веришь, как последняя дура. Все любят поезда, ни разу не встречала человека, который не любил бы, а впрочем, разве я общалась когда-нибудь с нормальными людьми? А съемочная группа в поезде – это мгновенная оккупация столика разнокалиберными емкостями из десятка мужских волосатых рук, и домашняя курица от хозяйственной гримерши, и формальная шоколадка от ослепительной недозвезды, и, как всегда, забыли одноразовые стаканы, кому-то идти побираться к проводнику, вот разомнемся красненьким из горла по-братски, по кругу, и разыграем в бутылочку. А потом все говорят одновременно, кричат, придумывают, обсуждают, спорят – и всё придуманное гениально, все оспоренное неоспоримо, и ночь не начинается никогда, как не кончается припасенная выпивка… Да, а в Пашкиной фляжке ничего уже, по-моему, не плещется. И день. И осенний лес за окном.

Или все-таки выяснить, куда?…

Ленивая мысль долго бродила по кругу, в обход неподъемной головы, прорастающей волосами в дерматиновый валик. Лишняя, как червяк внутри спелого яблока. Постепенно стала невыносимой. Надо, надо. Никто не знает, никто не отследит, но я-то должна быть в курсе, иначе глупо вообще.

Встала, вышла из купе. В коридоре попались студентики, шарахнулись, брызнули в разные стороны, будто котята из-под асфальтового катка, один прилип, распластавшись, к окну, другой сгинул неизвестно куда. Несколько шагов по вздрагивающему вагону, купе проводника, и заклинило, черт, черт!!! Ручка едва не осталась в руке, когда створка, наконец, поддается, он сам открыл. И тоже отшатнулся с паникой в глазах, проглотив заготовленный мат.

– Куда мы едем?

– Ммм?!..

– Куда мы едем?!!

Отвечает скороговоркой, неразборчивой, как объявления на вокзале. Ничего, допустим, поняла. Когда мне нужно, я все понимаю.

– А сейчас где?

– Что?…

– Какая следующая станция?!

Называет. Большой город, областной центр, оттуда родом каждый пятый, и даже муж Таньки Самсоновой, если я правильно помню. Запросто – случайная встреча, знакомые общих знакомых, кто-то узнает, кивнет, окликнет, информация пойдет с нарастающей скоростью взрывной волны – и так будет, потому что все, что может случиться, случается непременно, катализированное силой твоего же неприятия и отвращения. Не пойдет. Не здесь.

– И раньше нет ни единой станции?

Спросила спокойно. Так, что ему стало по-настоящему страшно.

– Есть, конечно, – залепетал быстро-быстро, пришепетывая, – вот, например, через семнадцать минут Поддубовая-5, только поезд там не…

– Остановите, я сойду.

Развернулась и вышла, не дожидаясь ответа, никого не убив напоследок. Остановит, куда он денется, сам рванет стоп-кран, только бы избавиться от меня как можно скорее. И купе, вагон, да весь поезд хором вздохнет свободнее, как только меня не станет, так было всегда и везде, и лучшее, что я могу сделать для обитаемого мира – это устроить так, что меня в нем не будет. Милость с королевского плеча. Красивым широким жестом, как падает на землю шелковый шарф или разлапистый кленовый лист.

В купе уже не было никого, тетка воспользовалась передышкой и слиняла, как оживший труп, туда ей и дорога. Моя длинная сумка с ремнем, купленная сто лет назад в Париже, живет по законам пятого измерения, в нее помещается всё, а на вид и не скажешь. Схватить с полки и бросить на плечо; но ведь еще

семнадцать, пускай пятнадцать минут, рано, жди, – бывает ли что-то невыносимее ожидания, чем короче и нелепее, тем тяжелей и бессмысленней? Если б сейчас заглянул в купе проводник или кто-нибудь из попутчиков, меня бы, наверное, по-настоящему пробило. Но никто не заглянет, вот и замечательно. А может быть, удастся что-нибудь с собой сделать, и пробивать больше вообще не будет. Никогда. И к лучшему, потому что оно давно бесплодно и лишено всякого смысла.

В окне мелькали стволы и листья, и темно-зеленые вкрапления елей и сосен, и ни малейшего признака человека – она совсем маленькая, наверное, эта станция Поддубовая-5, а ведь могут и проскочить, не сделать остановки. Правильнее будет ждать у выхода, возле проводницкого купе, не давая забыть о себе или понадеяться на пощаду. Распрямила плечи, поправила сумку, сделала резкий разворот. Прямо на зеркало.

Мое лицо внезапно – не для слабонервных. Не для меня.

Усмехнулась навстречу хищному носу и рубленым скулам, и глазным ямам с черным огнем на дне, и сведенным в изломанный мост совиным бровям, и кинжальным насечкам на щеках. Стала похожа на усталую женщину – а если чуть повернуться в полупрофиль к свету, то и красивую, я всегда умела выгодно выставлять свет. Коротким движением отбросила назад гриву, мою жесткую чернобурку, поседевшую еще до тридцати, непроглядную соль с перцем, которую стоит только начать красить, чтобы признать безоговорочное поражение в моей войне против всего и всех. Не дождетесь. И не догоните.

Проводник предупредил о краткости стоянки, еще о чем-то предупредил, он все бормотал и бормотал, будто рассчитывал заговорить смертника с бомбой, страшную болезнь или бурю. Я привыкла, что меня все ненавидят и боятся, я сама все для того делаю, вернее, оно получается само, без ощутимых усилий. Пускай. Это гораздо лучше, чем когда просто ненавидят.

Поезд рванулся, дернулся, встал. Проводник потерял равновесие, взмахнул руками, за приотворенной створкой его купе с жестяным грохотом посыпались на пол подстаканники. Лес в окне поредел, расступился, впуская в себя занозу низкой постройки под шиферной крышей.

Станция Поддубовая-5.

– Маринка хорошая. Только она звереет.

– Как звереет?

– Как зверь… зверюшка. Девочки зверюшки, да? Кричит, и царапается, и все ломает, игрушки даже, и машинку зеленую. И кусается еще!.. Вот. Зубы!

– Ничего себе! Больно?

– Не-ет. Раньше было, а сейчас зажило почти.

– А почему она?… за что?

– Просто так. Позверела.

– Из-за чего?

– Не помню…

– Алла Николаевна, и такой вот ребенок ходит у вас в группу вместе с нормальными детьми?

– Я неоднократно поднимала этот вопрос. Но там мать-одиночка, льготная категория, вы же понимаете. Необходимо медицинское освидетельствование, вывод комиссии, а никто не хочет брать на себя ответственность… и видели б вы ту маму, несчастная женщина…

– Очень может быть. Но я не допущу, чтобы мой ребенок, чтобы все другие дети… Вы доиграетесь до подсудного дела! Я требую: эта девочка не должна больше посещать коллектив! Иначе…

– Маринка хорошая! Она придумывает! Мы играли в страну, там города, и речка, и море, и машинки, и солдатики танцевали! А она была волшебница, и замок

строили еще! В песочнице! Во-о-от такойский! Я не хочу, чтоб она не посещала!! Не хочу-у-у!!!

* * *

Там, где есть станция, должны быть и люди. Иначе никто бы не строил. Простейшая, в один шажок, логическая цепочка. И просека в лесу: две разбитые колеи, топкие, залитые дождями, приподнятая подиумом вязкая середина между ними, все присыпано толстым лоскутным слоем упавших листьев – никто здесь уже целую вечность не ездил и даже, наверное, не ходил пешком. Но ведь куда-то она все равно ведет. Она здесь одна, и это значительно упрощает выбор пути и маршрута.

Когда идешь по пружинистым листьям, чуть заметная вибрация в подошвах передает упругую полетность походке, скорость нарастает по спирали, естественная, как ветер. Никто не мог ходить со мной по лесу, разве что Яр с его балетным вышколом и безразмерными циркульными ногами, но когда это было, – а так все отставали, начинали материться и шумно дышать, возникать и нарываться. Но те леса, по которым мне приходилось бродить, быстро пасовали и сдавались, подбрасывая трассу, высоковольтную линию, забор частных владений, проплешину базы отдыха. Этот выглядел настоящим, способным не кончиться никогда. Возможно, так оно было бы лучше всего.

Просека постепенно сузилась, потемнела, почти перестав пускать небо сквозь встречные ветви над головой. А ведь здесь уже, пожалуй, не пройдет и тем более не развернется никакая машина. Постройка на станции, с которой я проводила вдаль посвистывавший с облегчением поезд, оказалась обманкой: шиферный лист лежал на двух с половиной полуразрушенных стенах, перфорированных насквозь, будто край кинопленки. Руины, поросшие желтым лишайником. Ни единой непристойной надписи, да и вообще никакой. Ни мусора, ни битого стекла. Подошва стоптанного ботинка валялась в углу единственной уликой, что здесь все-таки ступала некогда нога человека.

Но с призрачной станции шла в лес вот эта просека и, по человеческой логике, должна была куда-то вести. И вот пожалуйста: она тоже оказалась из породы призраков, ложных путей, какими моя жизнь всегда была пронизана во всех направлениях, словно сосудами с отравленной кровью. По большому счету,

ничего удивительного.

Просека тем временем уже превратилась в дорожку без всяких колей, скоро она истончится до тропинки, все более узенькой, будто исток реки, а там и потеряется в подлеске, уйдет под землю. И дальше я пойду уже сквозь лес, напрямик, а вернее, петляя, путая следы. Не найдут. Теперь уж точно не найдут и не догонят.

Под сомкнутыми влажными кронами все больше меркло, мглилось, проползало промозглым холодом под свитер; с ума сойти, плащ-то остался в купе, надо ж было только сейчас спохватиться. Свитер толстый, верблюжий, авторская работа Галки, вечно вяжущей тихой нашей костюмерши: огромная, в три отворота, горловина колется в подбородок, на груди сложный орнамент по мотивам цифири майя, подол, кольчатый, словно кольчуга, спускается чуть не до колен, а рукава намного длиннее моих рук и тоже подвернуты втрое. Но все-таки свитер – и ноябрь. А внутреннее топливо из фляжки с тигром уже выветривается, теряет горячительную силу и остальные свойства, господи, да неужели ж я протрезвею раньше, чем куда-нибудь приду? Вот так остановлюсь посреди леса – и задумаюсь, к примеру, о будущем?…

Тропинка – давно уже тропинка – поступила куда хитрее, чем я предвидела. Не исчезла, а наоборот, раздвоилась ласточкиным хвостом, вильнула в разные стороны, оставив на перепутье живописное бревно с черной отставшей корой и бесчисленной порослью мелких грибов, ярко-желтых, ядовитых наверняка. И тут же, по совпадению или команде, оборвалась легкость моего полета, словно испустила дух на глазах горемыки-изобретателя очередная несовершенная модель вечного двигателя. И все равно непонятно, куда идти дальше, и в принципе невозможно куда-либо идти.

Перекинула ногу, села верхом. В детстве, в юности, да и совсем недавно любое бревно подо мной легко превращалось в лошадку или оседланного дракона. Теперь – остается бревном, и уже ничего не поделаешь. Собственно, это и есть самое страшное из всего, что со мной случилось, чему я сопротивлялась в кровь, с чем билась на разрыв, из-за чего в конце концов и оказалась здесь; остальное – пена, плесень, грибная поросль с запахом гнили.

Лес молчал. Беззвучный шелест влажного листа, шорох притихшего ветра, падение одинокой капли. Эти звуки надо усиливать, вытягивать на звукооператорском пульте, чтобы они проявились, обнаружили свою тайную

жизнь, как бактерии на стеклышке микроскопа. Голая улитка ползет по шляпке гриба. Морщинистая кора впитывает сырость и, поскрипывая, все сильнее отстает от древесины. Личинка жука точит сердцевину каштана. Сгущаются сизые облака, собирается дождь.

И ни одной мысли, ни одного воспоминания, предположений и планов тем более никаких. Непостижимое, фантастическое состояние, слово для которого люди давно придумали, а значит, с ними, с другими, происходит, случается, бывает – и, наверное, часто. Покой. Когда никого и ничего не хочется изничтожить на месте, сокрушить и обрушить, и придумать, и взбудоражить, встряхнуть, гальванизировать, погнать вперед, заставить сделать хоть что-нибудь!!!..

Правильно же, покой?

Наклонилась вперед, оперла локти о мягкую кору; та, как губка, тут же отдала накопленную влагу, промочила насквозь толстые вязаные рукава. Подбородок на ладони, прикрыть глаза, оставить только звуки и запахи. Запахи куда сильнее звуков, они, наоборот, преувеличены, заострены до предела: прелый лист, грибная сырость, холодная свежесть, дым далекого костра…

Дым?

Вскинула голову, огляделась по сторонам, раздувая ноздри, втягивая в них костерный запах, словно дорожку кокаина. Направление. Откуда?

Кустарник напротив, роскошный, сплошь усыпанный круглыми листьями, похожими на золотые монеты, затрещал, посыпался, раздался темной трещиной, выпустившей суковатую палку, потом корзинку и худенькую лиловую руку, и наружу выбралась девочка. Лет, может быть, девяти-десяти, или двенадцати, кто ее знает, да и почему, встречая где-нибудь детей, мы тут же начинаем прикидывать, сколько им лет?

Увидев меня, остановилась напротив, точно на биссектрисе угла расходящихся тропинок. Поправила козырек наползающего на лоб картуза и поддунула прилипшую прядь.

Долго, почти до провиса в хронометраже, мы смотрели друг на друга.

Затем она подошла ко мне вплотную, присела на корточки и принялась срезать перочинным ножиком с бревна желтые грибы.

Вам правда интересно? Вам действительно нужно?

Познакомились мы лет семь назад, на одном проекте, сейчас уже и не вспомню, какое-то дикое мыло из жизни офисного планктона. Провалилось, кстати, с треском, но Марина-то ушла раньше, ее имени и в титрах не было… Постойте, девушка, вру. Вам, наверное, как раз будет любопытно: мы же с Маринкой вместе в детский садик ходили! Недолго, месяца полтора, меня потом забрали оттуда, но я ее когда увидел, сразу узнал. Спрашиваю: детсад «Солнышко» в Академе? Она долго смеялась. Все допытывалась, как я ее вычислил, ведь знаете же, бывают люди, у которых детское лицо всю жизнь просвечивает, а она полностью изменилась, вы же, наверное, видели фотографии. Но вот так вот. Удивительно.

Значит, гнали мы жутчайшее мыло. Совершенно за гранью, потому оно сначала было стыдно слегка, потом весело, стебно, а затем просто перестало задевать совершенно: делаешь свой кусок работы и едешь домой. Что? А, я диалоги писал. И должен был отсиживать полный день на съемочной площадке, потому что вечно ведь форс-мажор: то заболел кто-нибудь, то нужный реквизит не подвезли, то погода другая, и надо срочно все переписывать, адаптировать к обстоятельствам. А Маринку взяли вторым режиссером, на смешные деньги по сериальным меркам. Она была очень конкретно на мели, а они же сразу видят, сволочи.

Это уже потом просочилась информация, что у нее тогда мать умерла, причем буквально во время того скандала с «Мордой войны»: пускай вам кто-нибудь другой расскажет, не люблю передавать через третьи руки, а в общих чертах вы и сами в курсе. Но сначала никто не знал. То есть, про «Морду»-то знали, конечно. Косились с самого начала.

Ее никто не любил. И даже я.

Знаете, как она умела? Когда она появлялась где-нибудь, все окружающие проникались к ней сильными чувствами во всем диапазоне, но сильными непременно. Бывают такие люди, доминантные, ничего удивительного. Но Марина… К тем, кто ее сразу ненавидел, она и относилась адекватно, с ответной и, главное, очень конструктивной ненавистью, в работе самое оно. А вот к тем, кто влюблялся в нее с первого взгляда, восхищался, стремился дружить и так далее, была по-настоящему беспощадна. Лучшие чувства пробовала даже не на зуб – на разрыв. Так, что действительно рвалось. Никто не выдерживал, ни один.

Конкретику ей… ладно, будет вам конкретика. У нас музычку писал один очень талантливый мальчик. Ну да, а кто, вы думали, пашет на таких вот проектах? Сплошь непризнанные гении, которым тоже, представьте, надо что-то кушать. И все они себе говорят примерно следующее: вот подзаработаю, поднакоплю, переживу трудные времена, а заодно потренируюсь в формате, даже прикольно, опять-таки, профессионализм лишним не бывает, связями обрасту – и тогда… Честное слово, не слышал, чтобы кто-нибудь из них пробился. Ну да ладно. Мальчик был смешной, с кучей сережек в ухе, вечно в каких-то невообразимых лохмотьях и всегда с гитарой. Постоянно тусовался на съемках, хотя кому он там был нужен, композитор хренов, сдал свою музычку и гуляй. И во всех перерывах, провисах, когда группа на ушах, продюсеры орут, осветители с операторами бухают, – подсаживался к Маринке и пел ей свои песни. А песни у него… я никогда подобного не слышал, не после, ни до. Брал какие-нибудь всем известные, школьные стихи, чуть ли не «Чудное мгновенье» – и вытворял с ними такое невообразимое, почти на грани фола, но никогда не за гранью, органичное и прекрасное. Марина слушала. Ей нравилось, я видел.

А потом он исчез. Говорили, резал вены, говорили, подсел на иглу, черт, не записывайте, я принципиально не передаю сплетен. Но я сам видел – издалека – как она на него орала. Наверняка из-за какой-то мелочи, ерунды, она же непостижимо легко срывалась с катушек, и когда срывалась по-настоящему, это было очень страшно. У нее делались такие глаза… один раз при мне молоденькая гримерша реально упала в обморок от ее взгляда, или от криков, не знаю. Вполне здоровая девушка. Она уволилась потом, это было уже, кажется, на «Студии-плюс», если я правильно помню.

Что мальчик? Встретил я его не так давно. Да нет, заметно живой, лысый, с вот таким брюшком. Мобильные телефоны продает. Может, оно и к лучшему, разве ж я спорю?

А с того проекта Марина ушла со скандалом, она по-другому ниоткуда не уходила. Продюсер потом пояснял, мол, некоторые пробовали тянуть профессиональный продукт, ориентированный на зрителя, в сторону мутного артхауса. На самом-то деле она ни в какой артхаус наше мыло не тянула, это было в принципе невозможно – просто пыталась придать ему хотя бы малейший смысл. Добиться от актеров естественных интонаций и реакций, не больше, от сценаристов связной структуры, а от диалогов… К диалогам у нее тоже были претензии, да. И я переписывал; не знаю, как другие диалогисты. Но я-то старался, и потому ко мне она придиралась больше всех. Издевалась, глумилась, припоминала то и дело детсад, я уже не рад был, что сказал ей тогда, при первой встрече…

Кстати, у меня даже фотография сохранилась в детском альбоме. У нее, наверное, тоже такая была. Не видели? Подождите, сейчас принесу, покажу…Вот. Меня-то вы сразу узнаете, все меня узнают, наверное, мало с тех пор изменился. А она – вторая слева в первом ряду. Правда же, какое чудо?

* * *

– Меня зовут Марина. Я хотела бы остановиться у вас переночевать.

Старуха глянула коротко, без интереса. Перед ней стояла громадная корзина каких-то сухих ягод или, может, орехов, а справа миска, куда она сбрасывала их, отсортированные и очищенные от листьев, черенков и шелухи. Увлекательное занятие, было бы странно, если б я сумела составить ему достойную конкуренцию. Старухины руки ни на миг не прервали движения, а глаза, безразлично скользнув по мне, вернулись контролировать его, хотя что она там видит в этой темени…

Все это, конечно, раздражало, должно было вот-вот вывести из себя – закричать на запредельном звуке, опрокинуть корзину, схватить за плечи, встряхнуть, заставить!!! – но почему-то все не выводило, не пробивало, даже удивительно. Осмотрелась получше по сторонам: в густеющем полумраке темнел проем за старухиной спиной, светилось единственное окно в низком срубе, громоздились один на другой элементы бестолковой постройки, явно не раз и не два расширенной и дополненной, словно академическое издание научного труда. Все равно же я буду здесь ночевать, куда деваться ночью в лесу. Остальное –

мелочи, несущественные детали.

Девочка сказала несколько слов на совершенно чужом, неродственном языке. Старуха отозвалась недлинной фразой, в которой я уловила девочкино имя – Тарья. Тарья, а не Дарья, как мне показалось там, в лесу, а выговор у нее и правда не наш, не померещилось. Какое-то иноплеменное поселение, любопытно будет присмотреться поближе. Завтра.

– Отс, – произнесла старуха. – Отс.

Призывной интонации в ее голосе не было. Любой зов предполагает долю неуверенности в том, что услышат и придут; я всю жизнь орала на съемочной площадке, рявкала грозно и надрывно, вечно забывая усилить громкоговорителем голос… Она знала точно. Прошла минута-полторы, не больше, и возник мужчина, худой и темнолицый, он мог быть ей и мужем, и сыном, и отцом. Девочка что-то втолковала уже ему. Старуха кивнула, не прекращая сортировать свои ягоды или орехи.

– Идемте, Марина.

Это сказал Отс, и я вздрогнула: не было его рядом, не слышал он моего имени – а впрочем, услышал же свое, мало ли, почему бы и нет, неизвестно же, где он находился до сих пор и что у них тут с акустикой. Поправила ремень сумки на плече и двинулась за ним: кажется, вопрос с ночевкой решили, и слава богу. Старуха осталась на месте, при корзине, а девочка вообще исчезла, растворилась в сумерках. Прошелестел ветер, и невидимый огромный лес вокруг напомнил о себе штормовым шепотом. Какое хорошее, правильное место. Внутреннее, самодостаточное, недоступное. Не догадаются, не найдут.

В тени построек сгустилась совсем уж непроглядная темень, все равно что завязали глаза, и несколько поворотов, и не успеваешь сосчитать, и спотыкаешься на внезапных приступочках под ногами, и хоть бы где-нибудь огонь. Скрип невидимой двери и призрачный отсвет от окна, в котором обозначились серебристым контуром резкая скула и рубленый нос хозяина:

– Это здесь. Располагайтесь, Марина. Иллэ принесет светильник и постель.

Голос у него был глухой и ровный, с неожиданно интеллигентскими интонациями и почти неуловимым акцентом. Если его расспросить, этого Отса, он, конечно, расскажет в скрупулезных подробностях, кто они такие, какого роду-племени, почему здесь живут и как общаются со внешним миром. Так мы и сделаем, но завтра, сегодня мне слишком дорого это ощущение тайной щели, затерянного мира-капсулы, странного, спрятанного, непостижимого.

Он ушел. Я бросила на пол сумку и в ожидании обещанного светильника ощупью опустилась на кровать – твердую, низкую. Склонила голову и несколько минут просидела неподвижно, утопив пальцы в спутанных волосах, массируя виски. Голова по вечерам болит всегда, это данность, я давно привыкла и воспринимаю эту боль как непременный компонент усталости, не больше. День был не из легких, что и говорить. Ведь еще с утра, каких-то двенадцать часов назад, я даже не знала точно, все ли потеряно. Теперь знаю, и это главное изменение, произошедшее за сегодня с моей жизнью.

Старуха Иллэ со светильником все не появлялась, да она и не придет, пока не переберет до конца свою бездонную данаидскую корзину. Я опрокинулась набок, потом подобрала ноги и, не разуваясь, вытянулась на жесткой кровати. Хорошо. Не надо больше двигаться, шевелиться, что-то решать, с кем-то договариваться, на кого-то орать, отвечать за кого-то, в том числе и за себя саму. Вся неимоверная тяжесть запросто сброшена с плеч, как парижская сумка, в которую помещается все необходимое, да и лишнего немало. С лишним они вполне управятся без меня: переживут, свернутся, сдадут технику, рассчитаются за аренду и закроют недостачу, Люська давным-давно научилась подмахивать мою подпись. Собственно, суетиться и разыскивать меня будут максимум дня два-три, потом успокоятся, отвлекутся кто на что и забудут.

Если совсем уж откровенно, я никогда никому не была нужна. Это все они были нужны – мне, я тасовала их как хотела, и строила, и заставляла подчиняться, и добивалась нужного – мне, кому же еще? – результата, а потом брала других, и тоже заставляла, строила, добивалась… И всегда – мимо. Не совсем в молоко, близко, еще чуть-чуть; но все-таки не в яблочко, где-то рядом, а в нашей работе, как в хирургии или в оригами, признается и принимается только абсолютная точность. А иначе приговор: не цепляет. Заслуженный, что уж теперь говорить… И еще вечное ощущение сродни фантомной боли или предчувствию любви: вот-вот, в следующий раз, сойдется, совпадет, зацепит, уколет кончиком иглы в нервный узел, непременно, иначе и быть не может!.. Может, чтоб ты не сомневалась. Возможно абсолютно все. Именно по этой причине и нет никакого

смысла каждый раз замахиваться на невозможное.

Жалко только девочку, Юлю, она же и правда светилась. Светится. Но далеко не факт, что кто-нибудь еще разглядит, кроме меня. Хотя, с другой стороны, то, что видно мне одной, возможно, и не настоящий свет…

Внезапно свет погас повсюду, во всем обитаемом мире, потух тот рассеянный сумрак, который раньше и в голову не приходило принимать за свет. Наверное, там, вовне, коротко и обыденно выключилось то единственное окно. И никакой луны, никаких звезд сквозь плотный занавес туч. Ни фонарика, ни свечи, ни зеленых цифр на циферблате, ни светлячка в лесу. Конец света. Можно спокойно закрывать глаза, потому что все равно ведь никому не спастись.

Спи, маленькая.

Моя ноченька, мое солнышко, моя черная жемчужинка. Самый-самый красивый сон, как мы с тобой договаривались… Не раскрывайся, хорошо? Нет, я не ухожу. Спи.

Да, кажется, уже. Только тихо, а то если разбудишь, потом уже не заснет. На нее иногда накатывает вот так, прямо среди ночи… Нет, скорую не вызываю, зачем? Они тоже ничего не могут, только вколоть успокоительное, а я как-то сохранила ампулу и посмотрела потом в справочнике – ужас. Детям вообще нельзя такое колоть! Они же ничего не соображают, они сами боятся, им лишь бы заглушить наповал, даже дозу не рассчитывают, так и вгоняют целую ампулу. Представляешь, Мариша раз извернулась, выдернула у этой тетки шприц и воткнула ей в ногу, сквозь халат, сквозь колготки, или что там на ней было надето, всю иглу целиком! Пришлось дать десятку, чтоб уехали. Мы потом до зарплаты одну гречку варили. Хотя в садике вроде бы нормально кормят… она у меня все ест, солнышко.

Ты ее рисунки видела? Посиди, сейчас принесу. Дверь придержи, вот так, чуть-чуть, чтобы щель…Вот, смотри. Правда же, здорово? Правда? Но это надо вместе с ней смотреть, она про все рассказывает. Здесь же на самом деле не картинка, а целая история, в развитии, с персонажами, с историей каждого, как сундучок в

сундучке, понимаешь? Вот это, я запомнила, удивленная бабочка. Она удивилась, потому что впервые в жизни увидела дракона, который отдыхает на пляже. Дракон вот, в уголке, он еще маленький и застенчивый, и он умеет строить замки из песка. А у бабочки дома трое детей, мальчик и две девочки, или наоборот, забыла… Все время что-нибудь придумывает! Никогда не могу у нее добиться, чтобы рассказала, чем они занимались в садике. Ей неинтересно просто вспоминать и пересказывать. Выдумывает, сочиняет каждую секунду какую-то другую, отдельную жизнь. Она так живет.

А он что?… ничего он. Я ему написала тогда, все равно не ответил, не надо было писать. Может быть, и не дошло, теперь-то какая разница. Нет, Мариша совсем на него не похожа. И на меня не похожа, я знаю, она вообще другая. Да, брюнет, но у него-то глаза… слушай, а я ведь не помню уже, какие у него были глаза. Правда, забыла. Когда он уходил, стекло еще запотело, ноябрь, на улице холод, и я протерла рукой брешь полукругом, как радуга. Смотрела, а оно медленно запотевало вновь. И всё. Как не было ничего. А потом – Мариша.

Наследственность – это важно, я понимаю, могло и через поколение передаться, наверное, ты права, надо написать. Только у меня адрес шестилетней давности. Но я попробую.

Это не болезнь, ну как вы не понимаете, и ты, и все?! Ни к какому психиатру я ее не поведу, на учет не поставлю. Когда на нее накатывает… ну как бы тебе объяснить…

Тихо! Ты слышала, она или показалось? Пойду гляну, а то проснется, увидит, что меня нету, а я же обещала не уходить… Все время я ее обманываю. Мне кажется, она вообще давно уже никому не верит. Никому-никому.

Маленькая, ты спишь?…

* * *

Это оникс, детка.

Вода в пруду была матовая и черная, пузырьки воздуха поднимались из глубины и порождали маленькие концентрические круги, на которых едва заметно покачивались желтые вкрапления плавающих листьев. Я нагнулась, подобрала шершавый камешек или, может, орех, не успела понять и глянуть – и на поверхности разошлись уже серьезные широкие круги, переливаясь, отражая небо. Можно смотреть вечно. Я, наверное, так и сделаю.

При свете дня поселение должно было показаться будничным, а оказалось еще более странным. Проснувшись, лежа ничком одетая на лоскутном одеяле, я первым делом начала искать глазами окно, источник сероватого, но достаточного света – и даже его нашла с трудом, потому что мое окно смотрело створка в створку в другое, наглухо запечатанное ставнями, и этих ставен можно было запросто коснуться, не разгибая локтя. Кроме лежанки и низкого сундука, в комнате не было ничего, ну разумеется, умываются здесь где-нибудь во дворе – всплеск раздражения, неравновесно вялого, никакого – и распахнутый дверной проем: куда дальше?

Постройки нагромождались друг на друга без всякой системы, лабиринтом, из которого я едва нашла проход на открытое пространство. Постоянно попадались всевозможные предметы неясного назначения, нелепые, внезапные. То высоченная, в человеческий рост, корзина, то миниатюрная повозочка на резных колесах, то целая связка толстых, перевитых лозой палок – посохов? – то сундуки и сундучки, сложенные один на другой китайской пирамидой, шаткой на вид, то связка каких-то веревок петлей поперек дороги… А со всех сторон подступали углы и стены, криво, косо, под наклоном, готовые сдвинуться еще чуток, накрениться, схлопнуться – и все. Я лавировала между ними, пытаясь припомнить, какой дорогой вел меня вчера хозяин по имени Отс – Отс же, правильно?… а хозяйку зовут Иллэ, и еще здесь есть девочка Тарья, Таша, видите же, я все помню, – но выхода никак не находилось, и мимо вот этой корзины я, кажется, проходила уже…

Свернула за угол – и вышла к пруду. Черному, гладко-матовому с неуловимым движением расходящихся по воде кругов, очень похожему на камень оникс, осенний оникс. В моем саду камней непременно будет точно такой. Единственное, что сада камней у меня никогда не будет, бывают мечты из разряда несбывающихся – в принципе, по определению, так задумано. Лежит себе на периферии сознания и памяти, на границе слепого пятна, то скрываясь за горизонтом, то показывая золотистый краешек, и понимаешь, что никогда, – но если б не оно, было б совсем уж невыносимо жить.

Мой сад камней. Когда все более-менее хорошо, когда есть близкая цель и ускользающая победа, я о нем, конечно же, не помню. Только если в который раз обвалилось, рухнуло, разбилось вдребезги, а если подумать, то и не существовало ни разу на самом деле. Ведь каждый раз новая задумка всерьез кажется гениальной, а все, что происходит потом – цепочкой неправильностей, нестыковок и неувязок, из-за которых погрешность нарастает в геометрической прогрессии. Виноваты исполнители, в нашем деле их слишком много, виноваты начальники, их еще больше, виноваты обстоятельства, всегда вероломные и непредсказуемые: вот если бы сразу, из головы – и на широкий экран… Но и это, как правило, ложь, иллюзия, самообман; неточность всегда имеется в самом начале, червоточина сидит уже в идее как таковой, в синопсисе, блуждающем по студиям, в заявке на столе у продюсера, в твоей собственной голове, только признать это куда больнее и обиднее.

А сад камней – есть. Независимо ни от чего. Он просто есть, совершенный, прекрасный. Пускай его и не будет никогда.

Круги от брошенного камешка разошлись, сглаживаясь, к самым берегам, вода снова стала неподвижной, еле заметно тревожимой изнутри пузырьками неизвестно чьего дыхания либо разложения. Скользнул по невидимой ряби случайный лучик, на мгновение проявив ее, словно пленку – и тут же исчез, и снова матовая чернота. Желтые листья тихо лежали на воде, распластавшись, торжественно подняв черешки. Наверное, я вышла из поселения в другую сторону, ведь там, откуда пришла вчера, не было никакого пруда. Возвращаться или попробовать обойти вокруг?

Лес обступал линию пруда, огибая его золотым разомкнутым полукольцом. Сделав несколько шагов вдоль воды, я уперлась в неожиданно плотную, непроходимую стену. Кустарник, издали похожий на пестрое покрывало, щетинился из-под декоративных листьев острыми игольчатыми веточками, густыми, как частый гребень, древесные стволы сплошь заплетали сухие плети ежевики и дикого винограда, не оставляя прохода или даже просвета. Вот это лес. Настоящий, без чисто человеческих уступок вроде щедро посыпанной листьями дороги-колеи неизвестно откуда и черт знает куда. Такой лес я, пожалуй, понимаю, и даже слишком хорошо. Он не пустит. Я бы на его месте не пустила.

Пришлось снова идти по лабиринту нелогичных построек и непонятной утвари на грани фола. С опозданием удивила тишина: в таком маленьком мирке каждый

звук, по идее, должен распространяться по радиусу всего поселения. Чем они, местные жители, занимаются с утра?… наверное же, работают, а любая работа предполагает шум. Прислушалась: ни жужжания, ни шороха, ни стука. С другой стороны, по их меркам уже, наверное, давно не утро. А я еще не умывалась, между прочим.

Завернула за очередной угол, готовая к длинной веренице пристроек, петляющих среди перекошенных стен – и вдруг вышла на вчерашний двор. Точно такой же, если не считать освещения. Старуха Иллэ сидела в дверном проеме, ритмично запуская морщинистую руку в корзину и роняя в миску отсортированные и очищенные от шелухи орехи. Ее не отключали с вечера, это совершенно точно.

Я умею быть приветливой, почему бы и нет, а если кому-то подобное кажется категорически невозможным, так они плохо меня знают, эти кто-то. Могу улыбаться во весь рот, почти не напрягаясь, искренне и дружелюбно:

– Доброе утро.

Старуха продолжала свое монотонное движение, казавшееся скорее инстинктивным, чем разумным, вроде работы пчел или муравьев. В двух ее длинных седых косах, спускавшихся куда-то за корзину, проглядывали черные нити, словно на негативе. Коричневое сморщенное лицо ритуальной маски с тонким кожаным шнурком сложного плетения поперек лба. А одета, между прочим, в старый спортивный костюм: растянутый ворот, пузыристые треники… Типаж. Уважаю по-настоящему яркие типажи: такая внешность не бывает имманентной, за ней всегда скрыта биография. Правда, далеко не всегда достойная уважения – но все-таки. За массовку у меня таким платят, как за эпизод, это мое условие, жесткое, иначе я не работаю.

Глухая, что ли? На полтора тона выше и громче:

– Доброе утро, Иллэ!

Опять не отозвалась, и вправду глухая, как лесная коряга, запрограммированная лущить и перебирать орехи, и так целую жизнь, боже, а ведь, пожалуй, трудно придумать более трагичную судьбу. Я передернула плечами, и это вместо того, чтобы встряхнуть, заорать, докричаться, у меня строились в линейку и куда

более непробиваемые пни, хотя бы лесовики из «Морды», немые, безглазые и вооруженные до гнилых зубов, неприступные, начисто лишенные разума и полные до краев первобытной гордостью, как и их дикие горы… И ничего – договорилась. Сняла. В тот очередной раз, когда казалось, что вот оно, попадание, наконец-то в цель, в кровь, на разрыв – а оказалось, снова мимо, обманка, чертовы черепки. Но то было давно, и я пережила. Все можно пережить и выжить.

Старуха вскинула глаза. Как будто только что, а не две минуты назад, услышала свое имя. Глаза у нее были тусклые, бесцветные, совершенно никакие.

Посмотрела. Вернулась к своей корзине.

Так. Бесполезно.

– Иллэ, где Отс?

На его имя она среагировала – коротким глотком, дрожанием век. И никак больше; но прокололась, дала себя поймать, и теперь уже не сможет и дальше прикидываться глухой, не выйдет. Мне надоела зыбкая поэтичная загадочность, я хочу конкретики, информации, определенности, я никогда не умела без этого жить, не признавая компромиссных недомолвок и спасительной лжи, куда более безжалостная к себе самой, чем ко всем другим, хотя им тоже обычно хватало. Ну так я жду. Где?

– Отс, – снова с длинным опозданием повторила старуха. Негромко, без сомнения и зова. Он сейчас придет, как приходил вчера. Здесь, наверное, все всегда повторяется, прокручивается по кругу, закольцовывается в дежа-вю. Они так живут.

– Здравствуйте, Марина.

– Отс, – я развернулась на сто восемьдесят градусов, вложив в разворот силу нарастающего раздражения, почему-то не доставшегося старухе. – Где вы ходите? Где у вас тут умываются, где клозет, можете показать?!

Мужчина с темным лицом, при свете дня еще более морщинистым, даже узловатым, словно больное дерево, спокойно кивнул:

– Да, конечно, – безупречная корректность английского дворецкого в энном поколении. – Идемте за мной.

Не так просто. Мне все-таки удалось завестись, пускай слабо, с пол-оборота и, видимо, настолько же – однако знакомое, единственно родное и самоценное ощущение уже промыло сосуды горячим и пенным, бурлящим, стремящимся наружу, словно пузырьки искристого газа. Пора бы навести здесь порядок, разобраться в целом и в частностях, застолбить расстановку сил, чтобы дошло, чтоб знал, в конце концов!!!

Он уже шел, и я шла за ним, плелась хвостом, как на привязи, брела, куда ведут. Постепенно опадала игристая пена в крови, не выплеснувшись, не достигнув края. Когда-то – и не один раз – меня пытались учить добиваться именно такого эффекта: вдохни поглубже, сосчитай до десяти, медленно выдохни, а не пошли бы вы все?! Со мной пробовали по-разному. Ласково увещевали вполголоса и заговаривали медитативным полушепотом, орали вдвое громче, отборным матом, угрожали, трясли кулаками и перли корпусом, и все обламывались, как один, потому что были априори слабее, потому что никому – слышите? – ни единому человеку на свете нечего противопоставить той самой, будоражащей и пенной, поющей в ушах скоростным свистом, пробивающей насквозь силе, о которой я сама ничего не знаю, кроме того, что она у меня есть. Была. Всегда была, сколько я себя помню, а теперь…

Отс посмотрел через плечо, скривил коричневые губы в снисходительной улыбке более сильного. Никакой он не сильный, это я слабее него, слабее кого угодно, потому что в конце концов должно было так случиться, иссякнуть, высохнуть до дна. Мне сорок два, не будем забывать. В этом возрасте такие, как я, все равно так или иначе кончаются.

– Забыл сказать вам, Марина, – мягкий убедительный голос, словно начитавший сотни лекций по гуманитаристике в иностранных университетах. – Я был с утра на станции, вам пришла посылка. Потом зайдете ко мне, отдам. Умывальник и туалет у нас тут.

…Жестянка на гвозде, приколоченная к дощатой двери с сердечком насквозь, а по ту сторону, конечно, круглая дыра в полу. Открыла, поморщившись от невыносимого скрипа и запаха навстречу. Все как и предполагалось, в рамках стилистики жанра. Хоть что-то – в них.

Упала металлическая капля. Оглушительно, будто контрольный выстрел.

Оникс – это у нас разновидность халцедона с тонкой плоскопараллельной полосчатостью. Не буду я повторять, не ври, ничего ты не записываешь. А мне, между прочим, нравится про полосчатость, ты вслушайся, как звучит, практически стихи. По-гречески «оникс» – ноготь, и, думаю, своя логика в этом есть: ну-ка, покажи ногти… ага, вот видишь. Похож на агат, но различается расположением полос, да и много чем еще, не спутаешь. Оникс полупрозрачен, сейчас я включу солнце, и ты посмотришь, как будет красиво на просвет.

Знаешь, а ведь от оникса не бывает ничего хорошего – только грусть, разлука, страшные сны. Впрочем, они же все равно есть, оникс там или не оникс. И лучше, когда вот так. Отдельно, в своей специальной нише, на черном облаке, под стеклом. Здесь у меня всегда осень, ее тоже давно пора было отложить в сторонку, под отдельный купол. Никогда я не любила осень, ты же знаешь, но для оникса – самое оно.

Ну как, нравится тебе у меня? А ты думал! Ну давай, полетели дальше.

Глава вторая. Яшма

Надо сесть и разобраться. Подумать. Раньше, чем открывать.

Такие посылки я видела последний раз двести лет назад, в детстве – Мариша, скорее принеси ножницы! – они, посылки, приходили с единственного адреса, который я выучила наизусть и потом искала этот город на каждом глобусе,

каждой географической карте, и находила всегда выше, чем начинала поиски, на самом краю крайнего-прекрайнего севера, за пунктирным пояском полярного круга. Там жила мамина родственница, тетушка или двоюродная бабка, я никогда ее не видела – только эти фанерные ящики, тяжеленные, перемотанные шпагатом в шоколадных медальках сургуча. С выведенным шариковой ручкой нашим адресом, маминым именем, с обязательной припиской: «и Маришечке». Внутри были консервы, иногда вкусные, сгущенка или ананасы, изредка носочки или бантики для кос. Больше мне никто никогда ничего не присылал. Ниоткуда, чтоб уж завершить логический ряд.

Ящик лежал на спиле толстенного ствола под открытым небом, еще свежего, янтарно-желтого, с четкими кольцами древесных лет. Фанера выглядела по контрасту куда более ветхой, сероватой. Обойные гвоздики по краю, шпагат крест-накрест, сургучная блямба. Мое имя – ФИО, все правильно – красивыми разборчивыми буковками под наклоном по зернистой поверхности, работников почты, видимо, специально обучают экстремальной каллиграфии. И адрес: станция Поддубовая-5.

Никто не знает, что я здесь. Нет, получается, кто-то знает. Даже не так: кто-то знал об этом гораздо раньше, чем я сама решила и решилась, чем заставила проводника остановить поезд и сошла на станции в лесу: такие посылки идут долго, ее должны были отправить как минимум несколько дней назад…

Бред.

Или фальшивка.

Давай думать. Прокручивать назад покадрово, словно свежеотснятый материал.

Вот звонок из министерства, все накрывается, объективно и бесповоротно, однако я отказываюсь принимать такую объективность, я готова драться, я сделаю все, что необходимо, и даже больше, и реальность изогнется, подстроится под меня, как это происходит всегда. Ору в трубку допотопного телефона с заедающим диском, такие сохранились только в вестибюлях провинциальных гостиниц, счастье и проклятие которых – внезапные съемочные группы на полмесяца натуры. И одновременный звонок на мобилу, Эдуардыч: все действительно пропало.

Нет, я еще могла бы кусаться. Могла бы выгрызть хоть маленький кусочек победы, с трофеем в зубах не так больно и страшно в который раз умирать. Но нет сил, нет сокрушительного гнева, не накатывает, не пробивает. На ничего не значащих полусловах опускаю обе трубы. Стоп-кадр.

Поехали дальше. Вокзал, билет куда угодно, побыстрее, подальше, что тут непонятного?!! – ну разумеется, меня запомнили, уж меня-то запоминают все, везде и всегда. Теоретически, если кто-нибудь из группы бросился бы по моим горячим следам, ему выдали бы в кассе исчерпывающую инфу. До поезда оставалось минут сорок, могли успеть, пока я глушила тупую боль и мутный кофе в прокуренной вокзальной кафешке, почему бы и нет. Могли взять билеты в соседний вагон – и отслеживать на расстоянии, что будет дальше. Жадно прислушиваться, перешептываться, гасить ладонью залпы гнусного хихиканья, приникать воспаленным глазом к скважине или щели, азартно строить предположения и делать ставки, мерзость. Но такой расклад практически все объясняет. Вопрос: кто?

Приподняла ящик со стола-спила, взвесила в руках: легкий, не консервы с севера. Осмотрела придирчиво, особенно пристально изучая печати на сургуче и налепленную сбоку квитанцию – на вид все совершенно как настоящее, а номер почтового отделения и не должен мне о чем-либо говорить. Где оно тут, интересно, не в полуразрушенных же стенах так называемой станции… Впрочем, у местного Отса, если уж на то пошло, посылка не вызвала подозрений. Открываем? Если это привет от съемочной группы, брошенной на самовыживание, на произвол судьбы, потому что я уже не могла, не могла!!! – то там, конечно, какой-нибудь милый привет в той стилистике, на какую у них хватило чувства юмора и мести, одно не слишком-то отличается от другого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/dubinyanskaya_yana/sad-kamney

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити